

*Я вижу все. Я все запоминаю,  
Любовно-кротко в сердце берегу.  
Лишь одного я никогда не знаю  
И даже вспомнить больше не могу.  
Я не прошу ни мудрости, ни силы.  
О, только дайте греться у огня!*  
А. Ахматова

Нашу улицу нельзя было назвать большой. Но нельзя было назвать и маленькой. Она не была особо выдающейся, и знаменитости на ней не жили. Но она не была и незаметной. Одним словом — среднестатистическая улица южного города, обсаженная тополями и вязами, пыльная, асфальтированная, поросшая бугрянком и репейником и с домами в два ряда.

Примечательна улица была следующим: ржавой трубой, пересекавшей ее около магазина «Тысяча мелочей», рыжим котом Жоржем, с видом городского обходившего свои владения, бельевой веревкой, натянутой от окна третьего этажа дома № 55 к тополю напротив и самим магазином «Тысяча мелочей». Но о каждой примечательности по порядку.

Ржавая труба была на нашей улице с незапамятных времен. Вполне вероятно, что вначале притащили трубу, а потом вокруг нее проложили улицу и построили магазин. Тот, кто приволок этот уродливый обломок металла, был, в своем роде, творец. Железная Квазимода, украшенная по всему периметру и диаметру ржавыми бородавками, была очень живописна. А пыльные островки осота, вросшие в нее, придавали изысканно древний вид.

Изначальные функции трубы оставались загадкой. Некоторые старожилы говорили, что когда-то это была водопроводная конструкция, другие, что — канализационная. Третьи, почему-то понизив голос, вообще утверждали, что этот уродец ничто иное, как обломок немецкого самолета, сбитого хромым Гасаном. И что хромой Гасан, вернувшись с фронта, захватил и его с собой в качестве трофея. При этом никто не сообщал, зачем это Гасану понадобилось, и, самое главное, как он дотащил до дома ржавый символ поверженного фашизма? А спросить было не у кого, ибо Гасан вот уже лет сорок как отошел в мир иной. Как бы то ни было, с трубой наша улица дышала очарованием старины. Это наполняло нас гордостью. Не у каждых была такая металло-архитектурная достопримечательность.

Рыжий кот Жорж родился во вполне интеллигентной семье бывшей балерины Майи Кудриной от домашней кошки Саломеи и домашнего кота Варлаама. Помимо родителей, Жорж с младенчества обладал добрым десятком братьев, сестер, тетя, дядя и племянников. Родоначальником пушистого клана были дедушка и бабушка Жоржа. В отличие от своих потомков, они именовались просто — Мурка и Васька. Майя взяла их с улицы, и позволила основать колонию. Несмотря на суровое спартанское детство, Мурка и Васька быстро освоились в квартире бездетной балерины. Ко времени смерти старушки по ее дому бегало больше тридцати котов. Воздуха в округе это не озонировало. Новые жильцы быстро разогнали мохнатую братию: кого-то взяли сердобольные знакомые и друзья, кто-то просто сбежал. Но Жорж оставался верен своей улице, и жители привыкли к его массивной фигуре, степенно фланирующей вдоль тротуара. Жалкие остатки еды он не брал, а требовал полноценного обеда — супа, кусочков мяса или рыбы. При этом вид у него был явно разочарованный: «Что ж вы, люди, делаете, а? Я же мзду не беру, мне за державу обидно!» Надо сказать, что жильцы уважали хвостатого таможенника и поддерживали честь державы, то есть улицы. Жорж никогда не голодал, и лоснился год от году.

Бельевая веревка, натянутая от окна третьего этажа дома № 55 к тополю напротив, сама по себе ника-

кой ценности не представляла. Обыкновенная серая веревка с витой нитью для прочности. Но вот белье, вышиваемое на ней... Тоже, в принципе, заурядное, кроме оранжевых панталон с черными кружевами.

О!!! Эти проклятые панталоны будили непристойные мысли и принадлежали Лизе Мельник — даме необъятных размеров и большой души. В отличие от трубы, происхождение панталон сомнений не вызывало — они были трофейными немецкими, и их привез Лизе муж. К счастью, габариты Лизы за долгие годы не изменились — мощная и широкая в кости, она стойко оставалась в привычном весе. Панталоны были сделаны на совесть и явно не без участия дьявола — они не выцветали, не рвались и не усаживались от частой стирки. Вечная молодость панталон, вкупе с неизменными габаритами Лизы, могла бы навеять мысли о некоем портрете Дориана Грея, но на нашей улице тогда и слыхом не слыхивали об Оскаре Уайльде. Зато когда оранжевый стяг с черными кокетливыми кружевами эротически-победно развеялся на уровне третьего этажа дома № 55, то в соседних квартирах разом издавался завистливый женский вздох, и начинался традиционный пилеж:

— У других мужья как мужья, своих жен как куколок одевают, а у меня чурбан чурбаном, пентюх пентюхом, нюня нюней (определений никчемности было много). Лучше бы мать моя вместо меня черный камень родила! Чем я провинилась перед тобой, Господи, что колода Лиза, как королева одевается, а я, как чернушка?

Мужья реагировали на это вяло:

— Извини, на войне не были и миллионы не режу! А у спекулянтов покупать ничего не буду!

— Конечно, мы же бедные, но честные! Зато жена и дети пусть в отрепьях ходят!

— Хватит, женщина! Занимайся своими делами!

— Зачем я только замуж выходила, дурья моя башка?!

На это мужья синхронно разводили руками, мол, сама подтверждаешь, а я этого не говорил!

Ну, и, наконец, магазин «Тысяча мелочей». Последняя и самая яркая достопримечательность нашей улицы.

В общем-то, в самом магазине ничего примечательного не было. Обыкновенный набор хозяйственных принадлежностей: гвозди, крючки, кастрюльки, стаканы, коврики для ванной и прихожей, кашпо для цветов, шланги, средства для чистки мебели, ведра, термосы, а в другой стороне — почему-то картошка, капуста и зелень. Жильцы вначале дивились странному набору товаров, но потом свыклись.

Заведовал всем этим богатством Лев Захарович. Большого оригинала трудно было найти. Он был продавцом и главным украшением магазина.

Забежишь к нему бывало утром:

— Лев Захарович, мне бы картошки килограмма два.

— Какой? — с деланным безразличием вопрошает Лев Захарович, но лысина предательски наливается кровью.

— Как, какой? Картошки просто!!!

— Я не глухой! Тебя мама не учила не кричать особенно на старших? Какой картошки, я спрашиваю? Для чего?

— ?!!

— Боже мой! — Лев Захарович всплескивал коротенькими ручками. — Боже мой! Что вырастет из этого ребенка, я Тебя спрашиваю? Он даже не знает, какая картошка ему нужна! Как он будет помогать родителям, каким он будет хозяином? Ничему не учат детей, только собой занимаются. Беги, спроси у мамы, для чего ей нужна картошка?

Мама реагировала не менее бурно.

— Что он умничает? Тоже мне — старый болтун! Скажи, для супа!

Услышав ответ, Лев Захарович медленно остывал.

— Ну, хоть какая-то определенность! Запомни, деточка (в хорошем расположении духа он всех называл деточками), белая картошка для супа, она аккуратная и не разваливается. Если для пюре, нужны желтые сорта — они рассыпчатые и пюре будет красивым и воздушным. А вот если хочешь жареную, тогда непременно розовую. В ней много декстрина — картошечка будет с румяной корочкой, целенькая, да еще с луком и на сливочном масле — это еда богов!

Он складывал пальцы шепотью, подносил их ко рту и причмокивал. И по лицу его, словно лучи от солнца, во все стороны шли морщины.

Та же участь ждала и капусту. Не дай Бог было не определить, для чего она нужна — для борща или голубцов. Лев Захарович приходил в отчаяние!

— Запомни, пока я жив, потому как ваши родители жизни, я смотрю, вообще вас не учат: плотные, сочные кочаны на борщ, чтобы наваристее был, а вот легкую, пустую капусту на голубцы, чтобы «раздевать» было легко, и листья бы не поломались. Запомни, все в жизни пригодится!

Окончательно приходя в благодушное настроение, Лев Захарович усаживался на табурет с лоскутной подушкой и начинал разговоры «за жизнь».

Они были пестрые и так беспорядочно перескакивали с темы на тему, что казалось, будто кружишься на огромной карусели и на ходу пересаживаешься с оленя на лошадь, а потом снова на оленя. Познания у Льва Захаровича были огромные, но совершенно бессистемные.

Разговор рождался со... вздохов. Вначале редких, потом, как капли дождя, учащавшихся. Повздыхав вволю, Лев Захарович останавливал свой взгляд на рисунке какой-нибудь чашки. Это, к примеру, мог быть греческий узор из ломаных линий. Глаза старика оживлялись.

— Древняя Греция, прекрасная Эллада,— произносил он единым духом. — Родина философов и поэтов. Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына. Ты мифы в школе изучаешь? И какой самый любимый? Боже, у этого ребенка нет даже любимого древнегреческого мифа! Эти дети неучи! Господи, куда ты смотришь?! А миф о Дедале и Икаре? Тоже не слышал? Боже, вложи в голову этим детям хоть каплю ума!

Продолжая ворчать и сокрушаться, Лев Захарович рассказывал нам миф за мифом. Герои и боги оживали в его пересказах. Эгейское море шумело и переливалось всеми красками, нимфы плясали на берегу, а скромный продавец «Тысячи мелочей» представлял новым Гомером. Рассказы Льва Захаровича были куда интереснее школьных уроков истории! Но волшебство разом прерывалось, если вдруг, к примеру, начинал накрапывать дождь. Прекрасная Эллада гасла в надвигающихся тучах, и Лев Захарович перескакивал на тему о круговороте воды в природе и свойствах дождевых осадков. А далее перечислялись виды дождя и примет с ним связанных.

Если после дождя в воздухе пахло нагретой пылью от асфальта, то мгновенно заводился разговор о происхождении пыли как таковой. Если ветер доносил легкий запах прели и грибов, то на два часа был гарантирован феерический рассказ о грибах.

Лев Захарович мог говорить обо всем: музыке, вине, живописи, литературе, географии, физике, керамике, выделке кожи, звездах и лечебной физкультуре. От него мы узнали, что такое гляциология и глиптика. Все было изумительно интересно и беспорядочно. Одновременно с рассказами Лев Захарович умудрялся еще и отпускать товар, и яростно просвещать необразованных покупателей. Его любили и не мыслили улицы без него.

В подсобной комнате у Льва Захаровича было множество неожиданных вещей. Помимо ведер с отбитой эмалью, рыболовных крючков, сеток для москитов, ящиков с гвоздями и разнокалиберных кранов, на стене красовалась «Лунная ночь на Днепре» Куинджи, а пыльный стол украшал портрет Чехова. Краны и трубы валялись на столе тоже, отчего казалось, что портрет окружают замороженные жестяные змеи.

Любой смертный, допущенный в эту пещеру Али-Бабы, застывал на пороге и, обретя, наконец, дар речи, спрашивал к чему же портрет Чехова и «Лунная ночь»? Лев Захарович, словно предвкушал этот вопрос! Ему было наслаждением отвечать на него! Он глубоко вздыхал, распускал морщинки-лучики на лице и начинал вещать!

— Вы спрашиваете, почему у меня, среди этого бедлама Куинджи и Чехов? Я бы мог вам ответить стихами Вознесенского «Небом единым жив человек!» Но я не буду этого делать. А почему? Спросите меня — почему?!

— Почему?

— Потому, что это и так ясно! Это как дважды два четыре! Не хлебом единым жив человек, но и хлебом тоже. Не небом единым жив человек, но и небом тоже! Вся наша жизнь — канатная веревка, по которой мы балансируем между дольным и горним. И надо удержаться на этой веревке, между физикой и метафизикой, тогда ты гармоничный человек. Вы понимаете меня? Впрочем, это не важно, потом поймете.

Понять было нелегко, но мы согласно кивали, что, да, мол, потом уразумеем!

Такие речи продолжались минут двадцать. После чего Лев Захарович уставал и начинал говорить тише, будто взглядывался в дно души. И речь его менялась, становилась проще и задушевнее, исчезало все выспренное.

— Моя мама была святая женщина. Берегите мам, дети, вторых мам не будет никогда. Только я не понимал, что она святая. А сейчас понимаю и мне стыдно. Она в двадцать девять лет осталась с тремя маленькими детьми на руках. Отца не стало еще до войны. А нас у мамы пятеро было, но двое умерли в младенчестве. И вот остались мы у нее — я, брат младший и сестра. Я у нее любимчиком был, она всегда меня больше жалела, Львеночком рыжим и солнышком называла. Это я сейчас лысый, а раньше был рыжим, волосы густые, кудрявые! Эх...

А сколько ее сватали, после отца, мамочку мою. А что не сватать: и красавица, коса в руку толщиной, глаза как огонь, а талия тоненькая, и это после пяти детей! И работница — золотые руки. Все в доме делала сама, любое дело спорилось. А я в штыки встречал, когда кто-то к нам свататься приходил. Мама из-за меня всем отказывала. Так замуж и не вышла. А сейчас я жалею, Бог мой, как жалею! Она ведь молодая была, жить бы да радоваться! А всю себя в нас вбила, так и состарилась. А что мы? Разлетелись каждый в свою жизнь, меня вот вообще в другой город, сюда занесло. А мамочка в семье сестры доживала. А при зяте какое житье? Да еще если и его мама с ними вместе живет? Вот, и получается, что мамочка моя ни одного дня не пожила как душе хочется. — Лев Захарович замолчал и теребил уголок грязного платка. — А когда отдыхала, любила смотреть на эту картину, — продолжал он и взмахивал рукой на стену. — Вырезала из какого-то журнала, поставила за стеклом и все наглядеться не могла. Бумага журнальная совсем истрепалась, выцвела, а она не разрешала никому дотрагиваться. Это я уже потом купил хорошую репродукцию и вставил в рамку.

А Чехов? Это, считайте, ему я обязан всем, что знаю. Только Антон Павлович здесь как бы ни при чем. Все мама. Она хоть и грамотная была, но просила, чтобы ей читали вслух. Да и то сказать, когда ей было читать: все время в работе, дома дела не кончаются.

И очень любила рассказ Чехова «Скрипка Ротшильда». Уже наизусть его знала, а все равно, затаив дыхание слушала. И всякий раз нам повторяла: «Вот, смотрите, как человек только под старость понял, что всю жизнь прожил в убытках. Никому доброго слова не сказал, жену истязал, попрекал куском хлеба, даже чай пить запретил, потому что считал — чай дорогой, и пила жена только горячую воду. А сам пил горькую, скандалил, кидался на всех с кулаками, а жизнь так и прошла и ничего уже не поправишь, и так много потеряно. А все потому, что человек делает не то, что нужно. Вместо того чтобы сказать другому доброе слово, норовит обидеть, обмануть. Вместо того чтобы учиться и приносить пользу, мусолит злобные сплетни, ненавидит и злится. Кому нужна такая жизнь? Одни сплошные убытки. Вот живите так, чтобы у вас их не было».

И так часто она нам это повторяла, что я понял: «А ведь правда, есть потери, которые ничем не поправишь».

Мы — народ практичный, добро на ветер швырять не привыкли. Так зачем я буду трепать свое сердце на злобу и ненависть, если можно его с пользой употребить? Зачем мне пустота и темнота, если я могу зажечь свет в храме своей души? — снова съезжал на выспренный тон Лев Захарович.— Зачем мне глупые разговоры, если всякий раз можно узнать что-то новое? Я вас спрашиваю — зачем? Есть в этом какой-то смысл? Нет?! А зачем же тратить свое время на бессмыслицу?! Никакой экономии в этом я не вижу! Нет, вы мне возразите, если имеете что возразить! Я рад вас выслушать. Но, если не имеете, так сидите и слушайте старого человека, который все ж таки, что-то понял в этой жизни!

Лев Захарович расхотелся не на шутку, и здесь надо было поймать тот нужный момент, когда он еще не дошел до стадии кипения. Именно в этот момент надо было вставить робкое: «Простите, Лев Захарович, мама ждет» и ретироваться. Слово «мама» было для него священным, он сразу же обмякал и торопливо говорил: «Да, беги, беги, что же ты раньше не сказал? Мама же волнуется! Вот я старый осел!»

Но если точка кипения была пройдена, то никакая мама не помогала. Лев Захарович произносил свои филиппики о том, что ученье — свет, а неученье — тьма с таким пылом и жаром, что сам Цицерон ему в подметки не годился! Тут уже, не то что фразу вставить, пискнуть бы не получилось! Старик блистал красноречием и пауз в речи не допускал.

— Память человеческая, как затонувшая Атлантида,— гремел он и был похож в эти минуты на библейского Саваофа,— все глубоко под толщей лет, и все живо, стоит только взглянуться получше...

...Мы вспомнили эти слова, когда наша улица с ее четырьмя достопримечательностями тоже стала затонувшей Атлантидой. Глубоко-глубоко на дне нашей памяти или любви колыхалась она. Робко всплывала в наших снах в преддверные часы так ясно, так живо. Наша родная улица с ржавой трубой, пересекавшей ее около магазина «Тысяча мелочей», рыжим котом Жоржем, бельевой веревкой с пикантным трофеем и самим магазином «Тысяча мелочей».

И бессменно его продавцом Львом Захаровичем, влюбленным в Чехова и Куинджи и научившего нас не размениваться на убытки в этой жизни.

«Потому как убытки — зряшное дело, никакой экономии в этом нет и быть не может...»